

Современное общество — свободное общество. Все мы дети великой эмансипации, ставшей побочным продуктом машинной эпохи. Машины не устранили наших древних предрассудков, но они заставили нас поставить под сомнение не просто наши традиции, но сами наши инстинкты.

Современное общество — городское и светское общество. Прежние общества организовывались по образцу семьи и родовой группы. Нынешнее общество выросло вокруг рыночной площади. Великие города, соорудившие свои башни вблизи этих рыночных площадей, стали плавильными тиглями, в которых переплавлялись расы и культуры, и центрами интеллектуальной жизни.

Но великие города, в которых людей объединяли скорее симбиотические, нежели социальные связи, видимо, пока не развили традиции, корпуса обычаев или моральной солидарности, достаточных для того, чтобы гарантировалось воспроизводство существующих социальных институтов или же упорядоченная последовательность экономических, политических и культурных изменений, воплощающих в себе чаяния нашего современного мира.

То, что Великое Общество достигло в своем охвате пределов обитаемого мира, свидетельствует о том, что оно достигло своего рода зрелости; однако тот факт, что люди все еще воюют для того, чтобы гарантировать воспроизводство своего образа жизни или навязать миру новый социальный порядок, говорит о том, что он вовсе не пришел ни к своему закату, как предполагает Шпенглер, ни тем более к своему концу<sup>16</sup>.

*Перевод В. Г. Николаева*

<sup>16</sup> «Город — это дух... Дух опрокидывает троны и ограничивает старые права во имя разума и прежде всего — во имя «народа», под которым теперь понимается исключительно народ городов. Демократия — это политическая форма, при которой от крестьянина требуют мировоззрения горожанина...

Наконец, возникает мировая столица, этот чудовищный символ и хранилище полностью освобожденного духа, средоточие, в котором сконцентрировался ход мировой истории. Мировые столицы — это весьма ограниченные по числу гигантские города всех зрелых цивилизаций, которые презирают материнский ландшафт своей культуры и дискредитируют его, низводя до понятия «провинция»...

Этот каменный колосс, «мировая столица», высится в конце жизненного пути всякой великой культуры. Душевно сформированный землей культурный человек оказывается пленником своим собственным творением, городом, он делается им одержим, становится его порождением, его исполнительным органом и, наконец, его жертвой. Эта каменная машина есть абсолютный город». (Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. И. И. Маханькова. М., 1998. С. 99, 101, 102.)

**ТОНИ Р. Г.**

## **СТЯЖАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО (Избранные главы)\***

### **Глава 1. Вступительные замечания**

Принято считать, что характерной добродетелью англичан является их способность к упорной практической деятельности, а характерным пороком — нежелание проверять качество этой деятельности в соотнесении с принципами. Они нелюбопытны к теории, принимают основные начала как само собой разумеющееся и больше интересуются состоянием дорог, нежели их местом на карте. И можно со всей справедливостью утверждать, что в обычные времена этого сочетания интеллектуальной пассивности с практической энергией бывает вполне достаточно, чтобы объяснить, если не оправдать, то равнодушие, с коим его обладатели сносят критику более умственно предприимчивых народов. Это настроение тех, кто, заключив сделку с судьбой, довольствуются тем, что она им преподносит, без пересмотра существа дела. Это оставляет разуму свободу сосредоточиться без лишних волнений на выгодной деятельности, ведь его не отвлекает тяга к бесплодным рассуждениям. Большинство поколений, можно сказать, идут по пути, который не они проложили и не они открыли, но который они просто приняли; главное, они должны двигаться вперед. Шоры, носимые англичанами, позволяют им семенить все настойчивее по проторенной дороге, не терзаясь любопытством по поводу своего предназначения.

Но как лекарство для тела не должно становиться его повседневной пищей, так и повседневная пища не может стать лекарством. Бывают времена необычные, и в такие времена недостаточно следовать по проложенному пути. Необходимо узнать, куда он ведет, и, если он ведет в никуда, последовать иной дорогой. Поиск иного требует рефлексии, чуждой по духу спешащим людям, считающим себя практичными на том основании, что они принимают все как есть и оставляют все как есть. Однако для путника, не уверенного в своем пути,

\* Перевод выполнен по изданию: Tawney R. H. The Acquisitive Society. L.: G. Bell and Sons, 1923.



практично будет не продвигаться с максимальной скоростью в неправильном направлении, а поразмыслить над тем, как бы найти правильное. Для народа же, столкнувшегося с одним из поворотных моментов в истории, практично будет не вести себя так, словно не произошло ничего важного и будто совсем не имеет значения, куда повернуть, направо или налево, пойти ли в гору или спуститься в долину, притом что он продолжал бы делать с немного большей энергией то же самое, что делал до сих пор; практично будет задуматься о том, мудро ли то, что он до сих пор делал, и, если нет, изменить свой образ действий.

Когда обломки его промышленности, его политики, его социальной организации должны быть воссоединены после катастрофы, он должен принять решение; ибо он принимает решение, даже если отказывается это делать. Чтобы принять решение, которое выдержит проверку временем, он должен на какое-то время выйти за пределы философии и встать на сторону владельцев своих газет. Дабы не бегать с энергичной тщетностью, как белка в колесе, он должен ясно понять ущербность того, что есть, и характер того, что должно быть. А чтобы достичь этого понимания, он должен прибегнуть к какому-то стандарту, более устойчивому, чем сиюминутные обстоятельства его торговли, промышленности или социальной жизни, и судить о них по этому стандарту. Короче говоря, он должен обратиться к Принципам.

Такие доводы, возможно, не так уж и неуместны в эпоху, когда факты навязали англичанам переоценку их социальных институтов, провести которую их ни за что не смогла бы подвигнуть никакая апелляция к теории. Обращение к принципам — условие любой скольконибудь значительной реконструкции общества; ведь социальные институты — зримое выражение шкалы моральных ценностей, господствующей над умами индивидов, и невозможно поменять эти институты, не поменяв эти ценности. Парламент, промышленные организации, вся сложная машинерия, через которую общество внешне себя выражает, — это мельница, перемалывающая только то, что в нее положат. Когда в нее ничего не кладут, она мелет воздух.

Многие, конечно, не хотят перемен и, когда будет предпринята попытка их провести, будут противостоят ей. В прошлом они нашли существующий экономический порядок выгодным для себя. Они желают только таких перемен, при которых будет гарантировано, что он и в будущем останется для них таким же выгодным. *Quand le Roi avait bu, la Pologne etait ivre.* Они воистину не способны понять, почему их сограждане не могут довольно греться у огня, согревающего их самих,

и, подобно французскому генеральному откупщику, спрашивают: «Зачем что-то менять, когда все идет столь замечательно?» Таких людей надо пожалеть, ведь им недостает социального качества, присущего человеку. При этом они не нуждаются ни в каких доводах, ибо Небо отказало им в одной из способностей, требуемых для того, чтобы эти доводы понять.

Есть, однако, другие люди, осознанно желающие нового социального порядка, но пока не осознающие следствий собственного желания. Люди могут с подлинной симпатией относиться к требованию радикального изменения. Они могут сознавать пороки общества и искренне заботиться об их устранении. Они могут учредить новое ведомство, назначить новых должностных лиц, изобрести новое имя, дабы выразить свою решимость совершить нечто более радикальное, чем реформа, и менее разрушительное, чем революция. Но до тех пор, пока они не возьмут на себя труд не только действовать, но и размышлять, их старания будут оканчиваться ничем. Ибо они отдают себя в руки людей, считающих себя практичными, потому что они настолько ревностно принимают на веру свою философию, что вовсе не сознают ее последствий. Лишь только они пытаются действовать, эта философия вновь утверждает себя и становится подавляющей силой, еще глубже вгоняющей их действие в старое русло.

«Несчастный я человек! Кто вырвет меня из этих гибельных объятий?» Когда они желают поставить свою экономическую жизнь на лучшее основание, они повторяют, как попугаи, слово «Производительность», потому что это слово первое приходит им на ум, не обращая внимания на то, что производительность и так уже является основанием, на котором она базируется, что возрастающая производительность есть характерное достижение довоенной эпохи (каким для средних веков была религия, а для классических Афин — искусство) и что именно в столетие, увидевшее величайший рост производительности со времен падения Римской империи, достигло наибольшей остроты экономическое недовольство. Когда они начинают терзаться угрызениями совести, они не могут придумать ничего более оригинального, чем уменьшение нищеты, потому что нищета, будучи противоположностью богатства, которое они более всего ценят, кажется им самым ужасным из человеческих несчастий. Они не понимают, что бедность является симптомом и следствием социального беспорядка, тогда как сам этот беспорядок есть нечто более фундаментальное и более неисправимое; они не ведают, что качество их социальной жизни, служа-



щее причиной деморализации немногих чрезмерным богатством, есть также то самое качество, которое становится причиной деморализации многих чрезмерной бедностью.

«Важно развивать производство». Конечно, важно! Не нужно поднимать призраков из появившихся за последние семь лет могил, чтобы они нам сказали, что изобилие благо, а нищета зло. Но изобилие зиждется на сотрудничестве, а сотрудничество — на моральных принципах. Моральные же принципы как раз есть то, что пророки этой благотворительности ни во что ни ставят. Вот мир и «продолжает прозябать в нищете», ибо он слишком жаден и слишком близорук, чтобы стремиться к тому, «что делает людей единомышленниками в родном доме». Схемы социальной реорганизации, выдвигаемые из лучших побуждений его расчетливыми учителями, безрезультатны, поскольку пытаются совместить несовместимое; приводя все в беспорядочное движение, они ничего не решают. Эти учителя похожи на человека, который, обнаружив, что его низкосортные башмаки плохо сидят на ноге, заказывает вместо ботинок из хорошей кожи пару башмаков на два размера крупнее, или на человека, который, пожертвовав как-то на благотворительные нужды фальшивую шестипенсовую монету, решает на следующей неделе пожертвовать фальшивый шиллинг. И вот когда заряд их лихорадочной энергии оказывается израсходованным, а предъявить в результате нечего, кроме разочарования, они начинают кричать, что реформа практически неосуществима, и клеймить на чем свет стоит человеческую природу, тогда как клеймить им следует самих себя.

Между тем, принципы, на которых должна базироваться индустрия, всегда просты, как бы ни было трудно применить их на практике; и если их не замечают, то не потому что они сложные, а потому что они элементарные. Они просты, потому что проста индустрия. Индустрия, что бы там ни говорили, не содержит в своей сущности ничего таинственного и есть не что иное, как группа людей, связанных друг с другом разной степенью конкуренции и кооперации и зарабатывающих себе на жизнь, предоставляя сообществу какую-то услугу, в которой оно нуждается. Организуйте индустрию как хотите, пусть это будет команда мастеров-ремесленников, работающих молотком и стамеской, группа крестьян, вспахивающих плугом свои поля, или целая армия механиков сотни разных специальностей, строящих корабли, являющие собою чудеса сложности, с помощью машин, венчающих собой многие столетия изобретений, функцией индустрии явля-

ется услуга, а методом — ассоциация. Поскольку ее функцией является услуга, индустрия в целом имеет права и обязанности по отношению к сообществу, аннулирование которых предполагает привилегию. Поскольку ее методом является ассоциация, разные участники внутри нее имеют права и обязанности по отношению друг к другу; пренебрежение ими или превратное их толкование предполагают угнетение.

Условия правильной организации индустрии, следовательно, постоянны, неизменны и могут быть поняты самым заурядным интеллектом, если только он будет искать природу своих сограждан в крупных очертаниях истории, а не в бескровных абстракциях экспертов. И они одинаковы в своих основных чертах как для бедного общества, так и для богатого. Последнее может предоставлять удовольствия, в которых первое вынуждено себе отказать; первое может упорно трудиться, возделывая каменистую почву, в то время как последнее комфортно живет в своем материальном Сионе. Эти различия в экономическом оснащении определяют, что будет выпускаться индустрией; они не меняют ни целей, к которым она должна стремиться, ни моральных стандартов, с которыми должна сверяться ее организация. Пока люди остаются людьми, бедное общество не может быть слишком бедным, чтобы найти правильный порядок жизни, а богатое не может быть слишком богатым, чтобы иметь нужду его искать. И если правы экономисты (а они, возможно, правы), предупреждающие нас, что удивительный всплеск богатства, имевший место в девятнадцатом веке, лишь исторический эпизод, который уже закончился; если период роста прибылей завершился и начался период их падения; если в будущем индустриальная цивилизация Западной Европы сможет лишь посредством все больших усилий закупать в Америке и тропиках необходимые ей продукты питания и сырье, — тогда тем более нужно, чтобы принципы, на которых зиждется экономический порядок, имели свое оправдание в совести порядочных людей.

Первый принцип состоит в том, что индустрия должна быть подчинена сообществу таким образом, чтобы предоставлять ему наилучшую технически возможную услугу, что люди, честно предоставляющие эту услугу, должны достойно оплачиваться, а люди, не предоставляющие никаких услуг, не должны оплачиваться вовсе, ибо само существование функции состоит в том, что она должна обретать свой смысл в удовлетворении — но не самой себя, а той цели, которой она служит. Второй же принцип таков: руководство и управление индустрией должны находиться в руках лиц, ответственных перед теми, кем они руко-



водят и управляют, ибо условие экономической свободы состоит в том, чтобы люди не имели над собой никакой власти, которую они бы не могли контролировать. На самом деле, индустриальная проблема — это проблема права, а не просто материальной нищеты, и поскольку это проблема права, острее всего она стоит для тех секторов рабочих классов, чья материальная нищета наименьшая. Это вопрос в первую очередь Функции и во вторую очередь Свободы.

## Глава 2. Права и функции

Функция может быть определена как деятельность, которая воплощает и выражает идею социальной цели. Самая суть ее в том, что действующее лицо выполняет ее не просто ради личной выгоды или собственного удовольствия, а сознает, что отвечает за ее выполнение перед некоторой высшей властью. Цель индустрии очевидна. Она в том, чтобы снабжать человека нужными, полезными и красивыми вещами и тем самым нести жизнь телу или духу. В той мере, в какой над нею властвует эта цель, она принадлежит к числу важнейших видов человеческой деятельности. В той мере, в какой она от нее отклоняется, она может быть безобидной, занятой или даже возбуждающей для тех, кто ею занимается, но при этом обладает не большей социальной значимостью, чем дисциплинированная работа муравьев и пчел, надменные выходы павлинов или драки плотоядных животных над падалью.

Люди обычно сознавали значимость этого факта, сколь бы они ни были неготовыми или неспособными действовать в согласии с ним; и, следовательно, время от времени в той мере, в какой они были способны контролировать силы насилия и алчности, они пользовались разными средствами для превознесения общественного характера экономической деятельности. Не так легко, однако, превознести его эффективно, ведь для этого требуется постоянное усилие воли, против которого восстают эгоистические инстинкты, а для возобладания этой воли необходимо, чтобы она была воплощена в какой-нибудь общественно-политической организации, которая сама может стать настолько своевольной, тираничной и коррумпированной, что будет только препятствовать выполнению функции вместо того, чтобы ему способствовать. Когда процесс вырождения заходит слишком далеко, как это произошло в большинстве европейских стран к середине XVIII века, нужно распустить умершую организацию и расчистить почву. Когда это делается, индивид эмансипируется, и его права расширя-

ются; но идея социальной цели при этом дискредитируется закономерной постановкой под сомнение того устаревшего порядка, в котором она воплощена.

Поэтому неудивительно, что в новых индустриальных обществах, выросших на руинах старого режима, доминирующей нотой должно было стать настойчивое требование индивидуальных прав вне зависимости от социальной цели, в которую вносило вклад их осуществление. Экономическая экспансия, сосредоточившая население в районах каменноугольных пластов, представляла собой в сущности небывалое продвижение колонизации, дрейфовавшей с юга и востока на север и запад; естественно, что для этих районов Англии, как и для американских поселений, должна была быть характерна философия пионера и шахтерского лагеря. Изменение социального качества было глубочайшим. Но в Англии оно, по крайней мере, происходило постепенно, и «индустриальная революция», при всей катастрофичности ее последствий, была лишь зримым апофеозом незаметного морального изменения, протекавшего на протяжении многих поколений.

Становление современных экономических отношений, начало которого в Англии можно датировать второй половиной XVII века, совпало с развитием политической теории, заменившей понятие цели понятием механизма. Большую часть своей истории люди находили значимость своего социального порядка в его связи с универсальными целями религии. Его рассматривали как ступеньку в лестнице, тянувшейся от ада до рая, а классы, его составлявшие, были руками, ступнями и головой корпоративного тела, которое само было микрокосмом, или несовершенным отражением более широкого мира. Когда Реформация сделала церковь ведомством светского государства, она подорвала и так уже ослабшие духовные силы, которые возвели этот возвышенный, хотя и слишком сложный синтез. Однако его влияние сохранялось еще около века после того, как были подрублены питавшие его корни. Он был воздухом, в котором люди рождались и из которого, сколь бы ни были они практичны или даже по-макиавеллиански циничны, им было не так-то легко вызволить свой дух.

Кроме того, новой государственной мудрости не было неудобно видеть добавление веса традиционной религиозной санкции к ее собственной заботе о подчинении всех классов и интересов общей цели, защитницей которой она и сама себя ощущала, и другими воспринималась на протяжении большей части XVI века. Уже не предполагалось, что линии социальной структуры повторяют в миниатюре план



космического порядка. Но общие привычки, общие традиции и верования, общее давление свыше придавали им ту единую направленность, которая сдерживала силы индивидуальной изменчивости и горизонтального расползания; и центром, в котором сходились эти линии, коим раньше была церковь, обладавшая некоторыми из характеристик государства, стало теперь государство, наделившее себя многими из атрибутов церкви.

Различие между шекспировской Англией, еще посещаемой призраками средневековья, и Англией, вдруг родившейся в 1700 году из яростной полемики двух предыдущих поколений, было в большей степени различием в социальной и политической теории, нежели в конституционных и политических формах. Не только факты, но и умы тех, кто их оценивал, основательно изменились. Сутью этого изменения было исчезновение идеи, будто социальные институты и разные виды экономической деятельности связаны с общими целями, которые давали им значимость и служили критерием их оценки.

В XVIII веке и государство, и церковь отrekliсь от той части их сферы ведения, которая состояла в поддержании общего корпуса общественной этики; тем, что от нее осталось, было классовое подавление, а не дисциплина нации. Мнение перестало рассматривать социальные институты и экономическую деятельность как подпадающие, наряду с индивидуальным поведением, под моральные критерии, ибо на него уже не влияло зрелище институтов, которые, будучи произвольными, капризными и часто затронутыми коррупцией в своей практической работе, служили внешним символом и выражением подчинения жизни целям, превосходившим частные интересы. Та часть государственного управления, которая была связана с социальным администрированием, если и не прекратила совсем свое существование, то стала, по крайней мере, устаревшей. Ибо такая демократия, какая существовала в средние века, уже была мертва, а демократия Революции еще не родилась, так что государственное управление перешло в руки классов, орудовавших могуществом государства в интересах безответственной аристократии.

Церковь, в свою очередь, отстояла от повседневной жизни человека даже еще дальше, чем государство. Филантропии было хоть отбавляй; но религия, бывшая некогда величайшей социальной силой, стала вещью такой же частной и индивидуальной, как поместье эсквайра или рабочая роба труженика. Были особые постановления и случайные вмешательства вроде повелений монарха, который либо от-

срочивал приведение в исполнение смертного приговора, либо подписывал распоряжение о казни преступника. Но то, что в христианстве было знакомым, человеческим, привлекательным, то, что было в нем собственно христианским, по большей части исчезло. Бог был заброшен в холодные высоты бесконечного пространства. На Небесах была ограниченная монархия, как и на земле. Провидение бесстрастно взирало на курьезную машину, которую оно сконструировало и привело в движение, но функционирование которой оно не могло, да и не хотело контролировать. Подобно спорадическому вмешательству Короны в работу Парламента, его мудрость обнаруживалась в нерегулярности его вмешательств.

Естественным следствием отвержения авторитетов, которые, пусть даже и несовершенно, отстаивали в социальной организации общую цель, было постепенное исчезновение из социальной мысли самой идеи цели. Ее место в XVIII веке заняла идея механизма. Представление о людях как соединенных друг с другом и обо всем человечестве как соединенном с Богом взаимными обязательствами, вытекающими из их связи с общей конечной целью, перестало запечатляться в человеческих сознаниях, когда церковь и государство покинули центр общественной жизни и ушли на ее периферию. Смутно сознаваемое и несовершенно реализуемое, оно было краеугольным камнем, на котором держалось все общественное устройство. Когда этот краеугольный камень свода был удален, остались лишь частные права и частные интересы, материалы, из которых складывается общество, но не само общество. Эти права и интересы составляли естественный порядок, который был искажен амбициями королей и священников и который родился с исчезновением искусственной надстройки, ибо они были творением не человека, а самой Природы. В прошлом их считали связанными с какой-то общественной целью, неважно, была ли это религия или национальное благосостояние. Отныне они стали мыслиться как абсолютные и неотъемлемые и стали существовать сами по себе. Теперь они были конечной политической и социальной реальностью; и поскольку они были конечной реальностью, не они были подчинены другим аспектам общества, а другие аспекты общества были подчинены им.

Государство не могло посягать на эти права, ибо оно существовало ради их поддержания. Они определяли отношения между классами, ибо самым очевидным и фундаментальным из всех прав было право собственности — собственности абсолютной и безусловной, — и



те, кто ею обладал, считались естественными господами тех, у кого ее не было. Общество выросло из осуществления этих прав через заключение договоров между индивидами. Оно выполняло свою задачу постольку, поскольку, поддерживая свободу договора, обеспечивало полный простор для ничем не ограниченного пользования ими. Оно не справлялось со своей задачей постольку, поскольку, как французская монархия, попирало их применением произвольной власти. Понимаемое таким образом общество приобретало в какой-то степени облик крупной акционерной компании, в которой политическая власть и получение дивидендов справедливо выпадали на долю тех, кто владел самыми большими пакетами акций. Течения общественной деятельности не сходились на общих целях, а расходились по множеству каналов, создаваемых частными интересами образующих общество индивидов. Однако в самой их множественности и спонтанности, в самом отсутствии всяких попыток связать их с более крупной целью, нежели цель индивида, кроется лучшая гарантия их достижения. Есть некая мистика разума, как и чувства: XVIII век нашел в благодатности природных инстинктов замену Богу, изгнанному им из контакта с обществом, и, не колеблясь, их отождествил.

*Так Бог с природой стали заодно;  
Любовь к себе и к обществу — одно<sup>1</sup>.*

Следствием таких идей в мире практики было общество, которым правил закон, а не прихоть правительств, но которое не признавало никаких моральных ограничений для преследования индивидами их эгоистичного экономического интереса. В мире мысли подобным следствием была политическая философия, которая положила права в основу социального порядка, а исполнение обязательств если и принимала в расчет, то только как нечто, неизбежно рождающееся из их беспрепятственного осуществления. Первым известным выразителем этой философии был Локк, у которого главенствует идея неотъемлемости частных прав, а не предустановленной гармонии между частными правами и благом общества. У великих французских писателей, расчистивших дорогу Революции, хотя они и считали себя слугами просвещенного абсолютизма, почти так же ясно подчеркиваются священство прав и непогрешимость алхимии, благодаря которой преследование частных целей преобразуется в достижение общего блага. Хотя их сочинения несут на себе явный отпечаток представления об обще-

<sup>1</sup> Строки из поэмы А. Поупа «Опыт о человеке». — Прим. перев.

стве как самонастраивающемся механизме, которое стало позднее самым характерным признаком английского индивидуализма, тем, что Французская революция впечатала в разум Европы, было первое, а не последнее. В Англии понимание права было негативным и оборонительным; его воспринимали как барьер, защищающий от посягательств со стороны правительства. Из окопов, обороной которых довольствовались англичане, французы бросились в атаку, и во Франции эта идея стала позитивной и воинственной — не оборонительным оружием, а принципом организации общества. Попытка переставить общество на фундамент прав, причем прав, вытекавших не из заплеванных хартий, а из самой природы человека, стала одновременно и триумфом, и ограниченностью Революции. Она дала ей энтузиазм и заразительную силу религии.

То, что происходило в Англии, может на первый взгляд показаться прямо противоположным. Практичные англичане, чьи мысли были настроены более приземленно, были немного шокированы помпезностью и великолепием этого удивительного кредо. Они не испытывали большой симпатии к абсолютным заявлениям Франции. Тем, что завладело их воображением, было не право на свободу, никак не вызвавшее к их коммерческим инстинктам, а практическая целесообразность свободы, которая им отвечала; и когда Революция явила во всей красе взрывную мощь идеи естественного права, они искали какой-нибудь не столь угрожающей формулы. Впервые она была им предложена Адамом Смитом и его предшественниками, показавшими, как механизм экономической жизни «словно невидимой рукой» превращает осуществление индивидуальных прав в инструмент общественного блага. Бентам, с презрением относившийся к метафизическим тонкостям и считавший Декларацию прав человека столь же абсурдной, как и любая другая догматическая религия, придал завершенность новой ориентации, предложив взять в качестве конечного критерия оценки политических институтов принцип полезности. Отныне акцент был перенесен с права индивида пользоваться своей свободой, как ему заблагорассудится, на целесообразность бесперебойного осуществления свободы общества.

Изменение весьма значительное. Это разница между всеобщим и равным гражданством Франции, с ее пятью миллионами крестьян-собственников, и организованным неравенством Англии, прочно покоящимся на классовых традициях и классовых институтах; это нисхождение от надежды к смирению, от пламени и страсти эпохи без-



граничных перспектив к монотонному пульсу фабричной машины, от Тюрго и Кондорсе к меланхоличному математическому кредо Бентама, Рикардо и Джеймса Милля. Человечество обладает по крайней мере тем преимуществом над своими философами, что великие движения идут из глубины души и воплощают веру, а не тонкие регулировки гедонистического расчета. Так, Франция во имя права собственности упразднила за три года массу прав собственности, отбивавших у крестьянина при старом режиме часть продуктов его труда, и эта социальная трансформация пережила целую череду политических изменений.

В Англии добрые вести о демократии разносились слишком осторожно, чтобы достичь ушей крестьянина на пашне или пастуха в горах; происходили политические изменения без социальной трансформации. Доктрина полезности, хотя и была колкой в сфере политики, не посягала всерьез на основания общественного устройства. Ее сторонников заботило прежде всего устранение политических злоупотреблений и правовых аномалий. Их гнев обрушился на синекуры, пансионы, уголовный кодекс, процедуры судебного разбирательства. Но это затрагивало лишь внешнюю сторону социальных установлений. Они считали чудовищной несправедливостью, что гражданин должен платить одну десятую часть своего дохода в качестве налога праздному Правительству, но при этом считали совершенно разумным, что он должен платить пятую его часть в качестве ренты праздному лендлорду.

Разница, тем не менее, была в акцентах и во внешнем выражении, а не в принципе. На практике почти не имело значения, устанавливались ли частная собственность и беспрепятственная экономическая свобода, как во Франции, в качестве естественных прав или они, как в Англии, просто полагались раз и навсегда практически целесообразными. В обоих случаях они принимались на веру как основания, на которых должна базироваться социальная организация и по поводу которых недопустимы никакие дальнейшие споры. Хотя Бентам доказывал, что права вытекают из полезности, а не из природы, он не доводил свой анализ до утверждения, что каждое конкретное право соотносится с какой-то конкретной функцией, и тем самым без разбору соглашался как с правами, которые сопровождались предоставлением услуги, так и с правами, которые им не сопровождались. Короче говоря, английские утилитаристы, всячески избегая фразеологии естественных прав, уберегали нечто, мало чем отличающееся от них по сути. Ибо они полагали, что частная собственность на землю и частное владение капиталом — естественные институты, и фактически

ки давали им новые жизненные силы, доказывая, к собственному удовольствию, что благосостояние общества должно быть результатом их продолжающегося осуществления. Их негативное учение было таким же важным, как и позитивное. Это был провод, который отводил молнию. За их политической теорией и за практическим поведением, которое, как водится, продолжает выражать теорию еще долго после того, как она была дискредитирована в мире мысли, стоит признание абсолютных прав на собственность и на экономическую свободу как не подлежащего сомнению центра социальной организации.

Результат этой установки был исключительно важен. Движущей силой и вдохновением либерального движения XVIII века была атака на привилегию; и когда приводились в порядок основные его идеи, эта атака была в высшей степени необходимой вещью. При современном отвращении к экономической тирании имеется склонность представлять писателей, стоявших на пороге эры капиталистической промышленности, как пророков вульгарного материализма, которые всякое человеческое устремление принесли бы в жертву погоне за богатством. Не может быть интерпретации, более вводящей в заблуждение; и если в Англии она не выглядит неестественной, то применительно к Франции, где новая вера достигла полного и наивысшего развития, она фантастична. Великие индивидуалисты XVIII века — Джефферсон, Тюрго, Кондорсе, Адам Смит — метили свои стрелы в злоупотребления своего времени, а не нашего. Критиковать их за безразличие к порокам социального порядка, который они не могли предвидеть, так же нелепо, как и прибегать к их авторитету в его защите.

Когда они формулировали новую философию, явным злоупотреблением была не власть, которой обладали владельцы капитала над населением, не имевшими возможности работать без их разрешения; им была сеть обычных и правовых ограничений, вследствие которых землевладелец во Франции, а также монополистические корпорации и государство во Франции и Англии мешали индивиду реализовать свои возможности, отчуждали собственность от труда и делали праздность пансионеркой промышленности. Великим врагом той эпохи была монополия; боевым кличем, с которым Просвещение выступило против нее, было упразднение привилегий; его идеалом было общество, где каждый человек имел бы свободный доступ к экономическим возможностям, которые он может использовать, и наслаждался богатством, которое он создал своими усилиями. Эта школа мысли представила все или почти все, что было гуманным и разумным в духе



этой эпохи. Она была индивидуалистической не потому что оценивала богатство как главную цель человека, а потому что имела высокое чувство человеческого достоинства и желала, чтобы люди были свободны стать самими собой. А вульгарный коммерциализм, который в Англии сопротивлялся и до сих пор противится отмене детского труда, черпал половину своей силы из того, что философия, под крылом которой он приютился, была философией не реакции, а просвещения.

Да, именно просвещения. Но такого, которое кристаллизовывало свои доктрины тогда, когда новый индустриальный порядок был еще молод, а его следствия неизвестны. Когда писал Адам Смит, фабричная система находилась еще во младенчестве; типичным работодателем был мелкий мастер, мало чем отличавшийся от полудюжины подмастерьев, которых он нанял; современную экономическую систему с ее централизованным контролем над армиями наемных рабочих, акционерными компаниями, отделяющими владение от управления, объединениями, контролирующими целую отрасль, никто не видел и даже не предполагал. Даже сегодня мало кто сможет прочесть «*Tableau Historique*»<sup>2</sup> Кондорсе без душевного подъема. Но кредо, изгнавшее призрак аграрного феодализма, обитавший в деревне и *chateau*<sup>3</sup> во Франции, было бессильно разоружить нового великана-людоеда промышленного капитализма, распостершего свои грязные руки на севере Англии, ибо оно никогда даже не помышляло о возможности его существования. Отсюда, при всех блестящих его достижениях, видимость чего-то запоздавшего, неподходящего и неуместного, которая неотступно преследует представителей этой школы мысли, когда они после середины XIX века обсуждают экономические вопросы, столь разительно отличающаяся от их резкой и непоколебимой прямоты времен ее зарождения. Это кредо выразительно и человечно. Но оно как будто повторяет фразы эпохи, исчерпавшей свои силы в их производстве, и поступает так, не зная этого. Ведь с тех пор, как они были отчеканены великими властителями дум, поток событий изменил лицо экономического общества и сделал их всего лишь фразами.

Когда либерализм, лишенный своего блеска и избавившийся от своих иллюзий, восторжествовал в 1832 году в Англии, он не критично внес в новый мир капиталистической индустрии категории

<sup>2</sup> «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»; впервые это сочинение было издано в 1795 г. — Прим. перев.

<sup>3</sup> Замок (фр.). — Прим. перев.

частной собственности и свободы договора, выкованные в более простой экономической среде до-индустриальной эры. В Англии эти идеи скручиваются и перекручиваются до неузнаваемости и со временем будут сделаны безвредными. В Америке, где необходимость заставила кристаллизовать принципы в конституции, они обладают жесткостью «железной рубашки». Величественные формулы, в которые общество фермеров, торговцев и цеховых мастеров облекло свою философию свободы, таят в себе опасность превращения в путы, когда используются англосаксонской деловой аристократией с целью обуздания повстанческих движений иммигрантского и полурабского пролетариата.

### Глава 3. Стяжательское общество

Эта доктрина сопровождалась на практике особыми ограничениями, что позволяло не допускать конкретных пороков и справляться с непредвиденными обстоятельствами. Но она ограничивается в особых случаях именно потому, что общая ее достоверность считается неоспоримой, и, кроме того, вплоть до начала последней войны она являлась работающей верой современной экономической цивилизации. Она предполагает, что основания общества обнаруживаются не в функциях, а в правах, что последние не выводимы из выполнения функций и что, стало быть, стяжание богатства и наслаждение собственностью не зависят от предоставления услуг, а индивид вступает в мир уже оснащенный правами на свободное распоряжение своей собственностью и преследование собственного экономического интереса, и права эти предшествуют любой услуге, которую он может оказать, и не зависят от нее.

Правда, при этом полагают, что на самом деле служение обществу будет вытекать из их осуществления. Но оно считается не первоочередным мотивом и критерием промышленности, а второстепенным следствием, которое возникает случайно в ходе осуществления прав, таким следствием, которое действительно достигается на практике, но достигается без всякого стремления его достичь. Это не цель, на которую направлена экономическая деятельность, и не стандарт, по которому о ней судят, а побочный продукт, в точности как каменноугольный деготь становится побочным продуктом производства газа. Вне зависимости от того, появляется этот побочный продукт или нет, отказ от самих прав не предполагается. Ведь их рассматривают не как условно доверенное имущество, а как собственность, которая дейст-



вительно может отступать перед особыми требованиями чрезвычайных обстоятельств, но восстанавливает свою власть сразу, как только эти обстоятельства оказываются позади, а в обычные времена и вовсе не подлежит обсуждению.

Эта концепция фиксируется на бумаге на протяжении едва ли не всей истории XIX столетия как в Англии, так и в Америке. Доктрина, наследницей которой она стала, гласила, что собственностью владеют по абсолютному праву на индивидуальном основании; и к этому фундаментальному положению она добавила еще одно положение, исторические корни которого в принципе можно проследить еще глубже, но которое достигло всей своей полновесности лишь со становлением капиталистической индустрии, а именно, что общества действуют несправедливо и недальновидно, когда ограничивают возможности проявления хозяйственной предприимчивости. Вследствие этого любая попытка навязать обязательства как условие владения собственностью или ведения хозяйственной деятельности встречала бескомпромиссное сопротивление.

История борьбы между гуманизмом и теорией собственности, дошедшая до нас из XVIII века, известна. Никто не забыл, как во имя прав собственности сопротивлялись принятию фабричного законодательства, жилищной реформе, попыткам запретить фальсификацию товаров и даже проведению водопровода и канализации в частные дома. «Что же это, я не могу свободно распоряжаться тем, что мне принадлежит?» — таков был ответ на предложение потребовать от владельцев фабрик и домов соблюдения минимального уровня безопасности и санитарных условий. Даже сегодня, когда английский городской землевладелец может сдерживать или деформировать развитие целого города, отказываясь предоставить землю иначе кроме как по фантастическим расценкам, английские муниципальные власти не имеют адекватных полномочий, позволяющих купить землю, применив методы принуждения, и должны либо вынужденно платить бешеную цену, либо видеть жуткие столпотворения сограждан. Вся процедура, посредством которой они могут приобретать землю или даже какие-то новые полномочия, была от начала до конца тщательно продумана юристами так, чтобы защитить владельцев собственности от возможности того, что их частные права будут подчинены общественному интересу, ведь их права мыслятся как первичные и абсолютные, а интересы общества — как вторичные и условные.

Опять-таки, никому не нужно напоминать о влиянии этой же доктрины в сфере налогообложения. Подоходный налог оправдывался как временная мера, поскольку нормальным обществом считалось такое, в котором индивид тратит все свои доходы на самого себя и не имеет на этот счет перед обществом никаких обязательств. Наследственные пошлины осуждались как грабеж, так как предполагали, что право получить выгоду за счет наследования зависит от общественной санкции. Бюджет 1909 года поднял целую бурю, и не потому что налог на землю был слишком высок — совокупные сборы от этого налога были пустяковыми, — а потому что он воспринимался как протаскивание доктрины, что собственность не является абсолютным правом и что ее можно законно сопровождать особыми обязательствами, доктрины, которая, будь она доведена до своего логического конца, погубила бы священность собственности, сделав владение ею не абсолютным, а условным.

Такое следствие кажется влиятельному сектору общественного мнения совершенно неприемлемым, поскольку он привык рассматривать свободное распоряжение собственностью и неограниченное пользование экономическими возможностями как права абсолютные и ничем не обусловленные. В целом, до последнего времени у этого мнения было мало противников, которых бы нельзя было проигнорировать. Как следствие этого, сохранению прав собственности ничто всерьез не угрожало даже в тех случаях, когда было очевидно, что их осуществление не несет никакой пользы обществу — ни прямо, ни косвенно.

Никто не предполагает, что владелец городской земли выполняет *как* собственник какую-либо функцию. Он имеет право частного налогообложения; вот и все. Но частное владение городской землей находится сегодня в такой же безопасности, как столетие назад; и лорд Хью Сесил в своей интересной книжке о консерватизме заявляет, что независимо от того, вредна или нет частная собственность, общество не вправе в нее вмешиваться, потому что вмешиваться в нее — это воровство, а воровство предосудительно<sup>4</sup>. Никто не предполагает, что большие участки земли должны использоваться под парки и для игр ради общественного блага. Но наши сельские джентльмены все еще

<sup>4</sup> Conservatism / By Lord Hugh Cecil. Chap. V. «Простого соображения, что плохо причинять любому человеку ущерб, вполне достаточно, чтобы установить право частной собственности там, где такая собственность уже существует... Любая собственность оказывается имеющей равное право на уважение со стороны государства».



прочно сидят на своих деревнях и заколачивают свои тысячи. Никто не в силах доказать, что «невидимая рука» заставит монополиста служить общественным интересам. Между тем, в значительной части промышленности, как показывает недавний «Отчет о трестах», конкуренция уступает место объединению (combination), а объединениям предоставляется такая же безграничная свобода в использовании экономических возможностей, как и индивидам. Никто в действительности не верит, что производство угля зависит от платы за право разработки угольных месторождений или что суда не будут ходить по рекам, если судовладельцы не смогут прирастить на этом 50 процентов к своему капиталу. Но углекопы, или в основном углекопы, все-таки платят упомянутые пошлины, а судовладельцы все-таки делают прибыли и становятся пэрами.

В тот самый момент, когда каждый твердит о важности роста производства богатства, последний вопрос, который, похоже, приходит на ум государственному мужу, — это вопрос, почему нужно растрачивать богатство на всякую бесполезную деятельность в расходах, которые либо несоразмерны предоставляемым услугам, либо вообще не сопряжены ни с какими услугами. Практика выплат на основании прав собственности, не сопровождающаяся даже видимостью предоставления какой бы то ни было услуги, укоренилась на самом деле настолько прочно, что когда в случае критического положения в стране поступает предложение добывать из земли нефть, правительство немедленно предлагает с каждого галлона платить налог землевладельцам, которые никогда даже не подозревали о ее существовании, а бесхитростные собственники полны праведного негодования в отношении каждого, кто ставит под сомнение, лежит ли на нации моральное обязательство продолжать обеспечивать их постоянным доходом. Такие права являются, строго говоря, привилегиями. Ибо привилегия определяется как право, не связываемое с соответствующей функцией.

Владение собственностью и управление промышленностью считаются, короче говоря, не требующими никакого социального оправдания, поскольку их рассматривают как права, имеющие основания в самих себе, а не как функции, о которых следует судить по тому успеху, с которым они вносят свою лепту в социальную цель. Сегодня эта доктрина, несмотря на ее интеллектуальную дискредитацию, остается практическим основанием социальной организации. Насколько медленно она отступает даже под натиском самой решительной демонстрации ее неадекватности, видно по установке, принятой запра-

вилами делового мира в отношении ограничений, наложенных на экономическую деятельность во время войны. Контроль над железными дорогами, шахтами и судоходством, распределение сырья через государственное ведомство (а не через конкурирующих торговцев), регулирование цен, попытки поставить под контроль «спекуляцию» — конкретное применение всех этих мер могло быть эффективным или неэффективным, мудрым или неблагоразумным. По правде говоря, очевидно, что некоторые из них были глупыми, в частности, наложение ограничений на импорт в то время, когда миру приходится выкарабкиваться из пятилетней разрухи, а некоторые другие меры, убедительные по замыслу, были сомнительными в практическом применении. Если бы против них выступили на том основании, что они мешают эффективному выполнению функции, если бы лидеры промышленности вышли вперед и дружно заявили (как некоторые из них, к их чести, и поступили): «Мы принимаем вашу политику, но мы улучшим ее проведение в жизнь; мы желаем платы за услуги и только за услуги и поможем государству увидеть, что оно платит за это и ничто другое», — тогда, возможно, и были бы разногласия в отношении фактов, но не было бы никаких споров по поводу принципа.

В действительности, однако, суть обвинений, выдвинутых против этих ограничений, оказывается в целом прямо противоположной. Они осуждаются большинством критиков не потому, что ограничивают возможность приносить пользу, а потому, что урезают возможность получить выгоду, не потому, что мешают торговцу обогатить сообщество, а потому, что создают ему трудности в беспрепятственном обогащении самого себя; короче говоря, не потому, что они не смогли превратить экономическую деятельность в социальную функцию, а потому, что слишком затронули их преуспевание. Если верить финансовому советнику инспектора угольной промышленности, акционеры угольных шахт вели себя очень хорошо во время войны. Но предложение урезать их прибыли до 1 шиллинга 20 пенсов с тонны описывается лордом Гейнфордом как «чистый грабёж и конфискация». За редкими достойными исключениями, выдвигается требование, чтобы в будущем, как и в прошлом, руководители индустрии были свободны обращаться с ней как с делом, которое ведется ради их собственного удобства или успеха, и чтобы их не заставляли, как это частично делалось во время войны, подчинять его социальной цели.

Этого требования и следовало ожидать. Ведь согласиться, что критерием коммерции и промышленности является их успех в осуществ-



лении социальной цели, значит перевести собственность и экономическую деятельность из прав абсолютных в права зависимые и производные, так как это значит утверждать, что они соотносятся с функциями и могут быть справедливо аннулированы, когда функции не выполняются. Короче говоря, за этим стоит предположение, что собственность и экономическая деятельность существуют для проведения в жизнь целей общества, тогда как до сих пор общество рассматривалось в мире бизнеса как существующее ради него. Тем, кто занимает свое положение не как функционер, а благодаря успеху в превращении промышленности в источник своего богатства и общественного влияния, такая перестановка средств и целей кажется чуть ли не революцией, ибо предполагает, что они должны оправдать перед судом общества те права, которые до сих пор принимали как само собой разумеющуюся часть порядка, не подлежащего никакой критике.

На протяжении почти всего XIX столетия значимость противостояния этих двух принципов — индивидуальных прав и социальных функций — была замаскирована доктриной неизбежной гармонии между частными интересами и общественным благом. Утверждалось, что конкуренция является эффективной заменой порядочности. Сегодня эта расхожая доктрина рассыпалась под огнем критики на мелкие осколки; немногие теперь признались бы в верности той смеси экономического оптимизма и морального банкротства, которая заставила одного экономиста XIX века написать: «Жадность удерживается под контролем жадностью, и алкание выгоды само устанавливает себе пределы». Склонность рассматривать индивидуальные права как центр общества и его точку опоры по сей день остается, однако, самым могущественным элементом в политической мысли и практическим основанием индустриальной организации. Мучительный труд, направленный на опровержение доктрины, что частные и общественные интересы совпадают, а любовь человека к себе есть Божий промысл, доктрины, которая оправдывала прошлое столетие за его культ экономического эгоизма, принес в действительности на удивление скромные результаты. Экономический эгоизм до сих пор в почете, и ему поклоняются, потому что на самом деле эта доктрина не была средоточием критикуемой позиции. Она была лишь внешним укреплением, а не цитаделью, и теперь, когда этот внешний бастион наконец взят, цитадель еще только предстоит покорить.

Индустриальной системе, построенной за последние полтора столетия, придает ее особое качество и характер, ее прочность и внутрен-

нюю спаянность вовсе не разбитая в пух и прах теория экономических гармоний. Их придает ей доктрина, что экономические права предшествуют экономическим функциям и не зависят от них, что права имеют основания в самих себе и не нуждаются в предъявлении каких-либо высших верительных грамот. Практическим ее результатом становится то, что экономические права сохраняются независимо от того, выполняются экономические функции или нет. Они сохраняются сегодня в более угрожающей форме, чем в эпоху раннего индустриализма. Ведь те, кто держит под контролем промышленность, теперь уже не конкурируют, а объединяются в синдикаты; соперничество между собственностью на капитал и собственностью на землю давным-давно завершилось.

Основой нового консерватизма оказывается решимость так организовать общество, пользуясь политическими и экономическими инструментами, чтобы обезопасить его от всякой попытки искоренить выплаты, которые делаются не за предоставление полезной услуги, а лишь потому, что собственники обладают правом извлекать доход без нее. Отсюда слияние двух традиционных партий, предложения «усилить» вторую палату, возвращение протекционизма, быстрое обращение конкурирующих промышленников к преимуществам монополии и попытки откупиться концессиями от самой влиятельной части рабочих классов. Революции, как показывает долгий и горький опыт, имеют свойство перенимать свой цвет у режима, который они свергают. Разве удивительно тогда, что кредо, утверждающее абсолютные права собственности, должно иногда сталкиваться с противоположным утверждением абсолютных прав труда, правда, менее антисоциальным и бесчеловечным, но при этом почти таким же догматическим, почти таким же нетерпимым и бездумным, как и оно само?

Общество, которое нацелено на установление зависимости приобретения богатства от исполнения социальных обязательств, которое пытается соотнести вознаграждение с услугой и отказывает в нем тем, кто не выполняет никакой полезной службы, которое интересуется в первую очередь не тем, чем люди владеют, а тем, что они могут сделать, создать или достигнуть, можно было бы назвать *функциональным обществом*, потому что в таком обществе основным предметом общественного внимания было бы выполнение функций. Но такого общества в современном мире не существует, даже в качестве далекого идеала, хотя нечто подобное витало как неосуществленная теория перед умами людей в прошлом. Современные общества на-



целены на защиту экономических прав, а экономическим функциям, кроме как в моменты чрезвычайных обстоятельств, предоставляют осуществляться самим.

Мотивом, придающим цвет и качество их общественным институтам, их политике и политической мысли, является не попытка обеспечить выполнение задач, нацеленных на принесение пользы обществу, а попытка расширить для индивидов возможности достигать целей, которые они считают выгодными для них самих. Если бы этих людей спросили, каковы цель или критерий социальной организации, они бы дали ответ, напоминающий формулу наибольшего счастья для максимально большего числа людей. Но сказать, что цель общественных институтов — счастье, значит сказать, что у них вообще нет общей цели. Ибо счастье вещь сугубо индивидуальная, и делать счастье искомой целью общества значит расколоть само общество на амбиции бесчисленных индивидов, каждый из которых ориентирован на достижение какой-то личной цели.

Такие общества можно назвать *стяжательскими обществами*, потому что все их стремление, весь их интерес и первейшая забота состоят в том, чтобы всячески способствовать стяжанию богатства. Эта концепция должна находить сильнейший отклик в людских душах, ведь она подчинила весь современный мир своему заклинанию. С тех пор, как Англия впервые открыла возможности индустриализма, она приобретала все большую силу, и по мере проникновения индустриальной цивилизации в страны, прежде от нее удаленные, по мере того как Россия, Япония, Индия и Китай втягиваются в орбиту ее влияния, каждое десятилетие свидетельствует о новом разрастании ее могущества. Секрет ее триумфа очевиден. Это призыв к людям пользоваться теми возможностями, которыми их наделили природа или общество, умением, энергией, неумолимым эгоизмом или просто везением, не задаваясь вопросами о том, существует ли какой-нибудь принцип, которым их осуществление следует ограничить. При этом подразумевается социальная организация, определяющая возможности, которыми фактически должны обладать разные классы, и сосредоточивающая внимание на праве тех, кто уже обладает властью или может ее приобрести, максимально использовать ее в целях собственного преуспевания. Приковывая мысли людей не к выполнению социальных обязательств, которое ограничивает их энергию, поскольку определяет задачу, на которую она должна быть направлена, а к осуществлению права преследовать собственный эгоистический интерес,

индустриальная цивилизация открывает бескрайние возможности для стяжания богатства и, следовательно, дает свободно развернуться одному из самых могущественных человеческих инстинктов.

Сильным она обещает ничем не ограниченную свободу применения их силы; слабым дает надежду, что и они тоже в один прекрасный день могут стать сильными. Перед глазами тех и других она вывешивает золотой приз, который не все могут заполучить, но за который каждый может побороться, — чарующее видение беспредельной экспансии. Она заверяет людей, что нет никаких целей, кроме их целей, никакого закона, кроме их желаний, и никакого предела, кроме того, который они сами сочтут предпочтительным. Таким образом, она делает индивида центром его собственного мира и растворяет моральные принципы в выборе сиюминутных целесообразных решений. И она беспредельно упрощает проблемы социальной жизни в сложных сообществах. Ведь она избавляет их от необходимости проводить различие между разными типами экономической деятельности и разными источниками богатства, между предприимчивостью и корыстолюбием, энергией и бессовестной жадностью, собственностью законной и собственностью ворованной, справедливым пользованием плодами труда и праздным паразитизмом где надо родившихся и баловней судьбы, а все потому, что она трактует все виды экономической деятельности как равноценные и предполагает, что излишество или порок, безоглядное расточительство или вышедшая из берегов роскошь не требуют сознательных усилий общественной воли по их недопущению, а исправляются почти автоматически механической игрой экономических сил.

Под влиянием таких идей люди не становятся религиозными, мудрыми или артистичными; ибо религия, мудрость и искусство предполагают принятие ограничений. Но они становятся могущественными и богатыми. Они наследуют землю и меняют лик природы, хотя не владеют при этом собственными душами; и они имеют эту видимость свободы, состоящую в отсутствии границ между возможностями личного подъема и подъемом тех, кому рождение, богатство, талант или везение позволили этими возможностями воспользоваться. Индивидам и обществам не трудно достичь своей цели, если она достаточно ограниченная и непосредственная и если их не отвлекают от ее преследования посторонние соображения. Характер, посвятивший себя развитию собственных возможностей и предоставляющий обязательствам самим о себе позаботиться, преисполняется решимости достичь



цели, одновременно простой и практичной. XVIII век определил ее. XX век во многом ее достиг. Или, если и не достиг, по крайней мере получил возможности для ее достижения. Национальный валовой продукт на душу населения составил в 1914 году, по приблизительным оценкам, около 40 фунтов. Если человечество не выберет путь дальнейшего принесения своего процветания в жертву амбициям и ужасам национализма, то к 2000 году он, возможно, удвоится.

*Перевод В.Г. Николаева*

*Продолжение следует*

**Р. ФИРТ**

## **СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ В МАЛОМ СООБЩЕСТВЕ\***

Наша цель — понимание социального процесса. Для этого крайне важно понять принципы социальной структуры. Но этого самого по себе недостаточно. Необходимо увидеть, как в каждом данном случае социальная деятельность становится результатом сложного комплекса элементов, включающего в себя прямую реакцию на структурные принципы, их интерпретацию и выбор между ними, осуществляемый под влиянием личных интересов и опыта, особенностей темперамента и давлений, оказываемых другими индивидами, стремящимися достичь своих собственных целей. Социальный процесс предполагает течение времени и изменение социального положения индивидов. Социальные события не просто отражение или иллюстрация элементов социальной структуры. Они воздействуют на ситуации так, что действие становится необратимым, новые множества выборов — необходимыми, а сама структура общества, благодаря приведению в действие новых решений, — открытой для изменения.

Следующая, более сложная, иллюстрация из жизни сообщества Тикопии покажет этот динамический аспект социальной организации.

Событие, в котором я не только был наблюдателем, но даже в какой-то момент стал участником, было драматичным, но не уникальным. Вначале была трагедия. Старший сын вождя деревни, в которой я жил, был мужчиной средних лет. Звали его Па Рангифури<sup>1</sup>. Он был моим другом, добрым, честным, простым человеком. Незадолго до того, как я прибыл на Тикопию, с ним случилась беда: он потерял в

\* Окончание. Начало см.: Личность. Культура. Общество. 2001. Т.3. Вып. 3(9). Перевод выполнен по изданию: Firth R. Elements of Social Organization. L., 1951. P. 41-79.

<sup>1</sup> Сейчас (1950) он Арики Тафуа; несколько лет назад он сменил своего отца.

**Фирт Реймонд** — видный британский социальный антрополог, автор признанных теоретических работ и полевых исследований, в том числе по экономической антропологии. С начала 60-х гг. XX века — председатель Ассоциации социальных антропологов Содружества.